

Герлинг-Грудзинский Г. Егор и Иван  
Денисович // Континент. München, 1978. № 18.

С. 203—211

Людей, вытесанных наподобие Александра Солженицына, можно мерить с разных сторон и разными мерками — они всегда выйдут из такой проверки с честью, первыми из первых. И нам тут приходится иметь дело с людьми совершенно исключительными, с такими, что рождаются раз в сто лет.

Если бы мне приходилось выбирать между Солженицыным-писателем, Солженицыным-историком, Солженицыным-моралистом и Солженицыным-бойцом, я выбрал бы этого последнего. Богом одаренный, этот человек равно силён везде и во всем, но его бесстрашие, излучаемое его неодолимой волей к правде, столь же поразительно, сколь уникально. Подумайте: один — если не против всех, то против многих — он не только открыл нам Архипелаг ГУЛаг в его апокалиптических масштабах, но неопровержимо доказал *неизбежность* его как составной части тоталитарного общества. И, сверх того, он совершил это в произведении, бесспорно, высоколитературном. И еще сверх того, еще важнее: Александр Солженицын, в одиночку, одним ударом, нанес такую рану самой могущественной мировой империи, что она от нее уже не опомнится. Он разорвал покровы, за которыми эта мощь десятилетиями лет скрывала свое истинное лицо, обманывая полмира и несколько поколений тем, что (с успехом) при творялась гуманистической, прогрессивной, народной. Он показал ее грозящие очертания и бесчеловечное существо. Навсегда. И много ли людей в наш век посмели бы утверждать, что достигли большего?

Павел Тигрид,  
главный редактор  
чехословацкого журнала «Сведецтви»

## Восточноевропейский диалог

Густав Герлинг-Грудзинский

### ДВА ЭССЕ

#### ЕГОР И ИВАН ДЕНИСОВИЧ

В одиннадцатом и последнем томе польского собрания сочинений Чехова (Варшава, 1962) находим мы «Остров Сахалин» — в первом (неполном) переводе Ирены Байковской. Послесловие Натальи Модзелевской рассказывает о возникновении этой книги.

Чехов решил ознакомиться с островом каторги в конце восьмидесятых годов. Находился он в то время в полном расцвете творчества и признания, и потому решение его удивило друзей и знакомых. Сегодня понятно, что сам писатель лучше всех видел признаки надвигающегося кризиса. Он писал и писал, но всё никак не мог достичь глубинной сути. Он чувствовал себя подобно пловцу, которого легко выносят и сильно удерживают на поверхности мелочи повседневной жизни. Он считал, что еще не выработал себе политического, религиозного, философского мировоззрения, меняя его каждый месяц, и поэтому, по его словам, ему необходимо было перестать только описывать — как любят, женятся, рождаются, умирают, как говорят его герои. Вполне вероятно, что именно на Сахалине он надеялся дойти до сути современной российской жизни и жизни человеческой вообще. Если

---

Эссе Г. Герлинга-Грудзинского «Егор и Иван Денисович» было одним из первых иностранных откликов на выход «Одного дня Ивана Денисовича». — Ред.

много лет спустя Лев Шестов был хотя бы отчасти прав, называя его рассказы «творчеством из ничего», то писателю предстояло докопаться до самых корней этого ничто. На каторге, — вроде бы говорил он перед отъездом на Сахалин, — быть может, существует одна из самых ужасающих бессмыслиц, на которые способен человек со своим предвзятым представлением о жизни и правде.

К путешествию он готовился с присущими ему добросовестностью и основательностью, слегка кокетничая «скромностью» своего писательского, врачебного и общественного положения: «Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий... Нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе». Однако он прекрасно понимал, зачем едет. В том же письме он добавлял, что «Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только способен человек вольный или подневольный», и полагал «нас всех» ответственными за «каторжный остров». Следующее признание относится к тому же периоду подготовки к путешествию: «...Благодаря тем книжкам, которые прочел теперь по необходимости (а это были уголовные кодексы Российской империи, выписки из истории тюрем, документы о колонизации Сибири. — Г. Г.-Г.), я узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей и чего я имел невежество не знать раньше».

Он выехал 21 апреля 1890 года. 10 июля он причалил к берегам острова.

Провел он там три месяца. Почти невероятно, сколько успел он сделать за столь краткий срок. Осмотрел все тюрьмы и поселения, произвел перепись населения острова, записал десятки разговоров, само-

лично организовал карточную систему опроса, которую в наши дни практикуют группы социологов и специалистов анкетирования. Доступ ему закрыт был только к политическим ссыльным. «Я... видел всё, кроме смертной казни... По воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом».

Он работал над книгой четыре года (с перерывами) и относился к ней как к исследованию, которым он собирался «немножко заплатить» в счет своей задолженности перед медициной. Тем не менее «доктор» Чехов говорил, что перед отъездом «Крейцера соната» Толстого была для него событием, а теперь смешит и кажется чем-то бессмысленным. «То ли я благодаря поездке возмужал, то ли разума лишился — чёрт его знает». И в самом деле, эта смесь научного отчета, инвентарной описи, ежегодника статистики, исследования на стыке психологии, социологии, медицины и права, которую представляет собой книга о Сахалине, могла ввести в заблуждение разве что цензора, но отнюдь не рядового читателя.

«В Корсаковском посту живет ссыльно-каторжный Алтухов, старик лет 60 или больше, который убегает таким образом: берет кусок хлеба, запирает свою избу и, отойдя от поста не больше как на полверсты, садится на гору и смотрит на тайгу, на море и на небо; посидев так дня три, он возвращается домой, берет провизию и опять идет на гору... Прежде его секли, теперь же над этими его побегами только смеются. Одни бегут в расчете погулять на свободе месяц, неделю, другим бывает достаточно и одного дня. Хоть день, да мой. Тоска по свободе овладевает некоторыми субъектами периодически и в этом отношении напоминает запой или падучую; рассказывают, будто она является в известное время года или месяца, так что благонадежные каторжные, чувствуя приближение припадка, всякий раз предупреждают о своем побеге начальство. Обыкновенно наказывают плетями

или розгами всех бегунов без разбора, но уж одно то, что часто побеги от начала до конца поражают свою несообразностью, бессмыслицей, что часто благо-разумные, скромные и семейные люди убегают без одежды, без хлеба, без цели, без плана, с уверенностью, что их непременно поймают, с риском потерять здо-ровье, доверие начальства, свою относительную сво-боду и иногда даже жалование, с риском замерзнуть или быть застреленным, — уже одна эта несообраз-ность должна бы подсказывать сахалинским врачам, от которых зависит наказать или не наказать, что во многих случаях они имеют дело не с преступлением, а с болезнью».

Однако «болезнь свободы» не распространяется на всех сахалинских ссыльно-каторжных. Только один раздел книги озаглавлен, и это означает, что автор хотел как-то подчеркнуть его важность. Называется раздел этот «Рассказ Егора».

Чехов встретил каторжника Егора в доме одного чиновника, у которого снял комнату вскоре после приезда на остров. Это был сорокалетний крестьянин «с простодушным, на первый взгляд глуповатым ли-цом». В дом чиновника он приходил не по обязанно-сти, но «из уважения», чтобы помочь прислуге, ста-рухе. Мастер на все руки, он постоянно был чем-то занят, постоянно искал себе дела и спал лишь по два-три часа в сутки. Только в праздники видели его стоя-щим где-нибудь на перекрестке, в пиджаке поверх красной рубахи, выпятившего живот и расставившего ноги. Это называлось у него «гулять».

Сослали его на Сахалин «за убийство». Из его простодушного и путаного рассказа явствует, что об-винили его без всяких на то оснований и засудили безвинно, за отсутствием свидетелей. На суде ему сказали просто: «Тут все так говорят и глаза крестят, а всё неправда». На Сахалине он почти доволен своей участью. Когда его спрашивают, скучаешь ли по дому,

он отвечает: «Нет. Одно вот только — детей жалко». О чем он думал, когда в Одессе его вели на каторж-ный пароход? «Бога молил». — «О чем?» — «Чтобы детям ума-разума послал». Почему не взял с собой на Сахалин жену и детей? «Потому что им и дома хо-рошо».

Наталья Модзелевская вполне справедливо пишет в послесловии: «Наитрагичнейший персонаж каторги мы встречаем в «Рассказе Егора», записанном внешне бесстрастно. Егор — это в некотором роде собира-тельный образ этих нищих духом, которые не отли-чают уже справедливости от беззакония, которые утратили восприимчивость и к своим и к чужим стра-даниям и в ком не тлеет даже хотя бы искорки про-теста. Они принимают свою участь с бесконечной покорностью; им даже удастся быть довольными. Эта ужасающая сила инерции и покорности, как пока-зывает Чехов, становится одной из опор, на которых держится каторга».

Для автора «Записок из мертвого дома» страда-ния осужденных на каторгу имели характер ничем не объяснимый, были как бы сгустком извечной челове-ческой доли; каторжники-поляки, как точно заметил Ежи Хостовец, раздражали Достоевского попытками рационального или мистического изъяснения этой до-ли. Для Чехова смиренное страдание Егора стало об-винением этому обществу; автор книги о Сахалине имел бы полное основание поместить на ее титульном листе восклицание Маркса: «Сколь же убого общество, кото-рое для своей защиты вынуждено звать на помощь палача!»

\* \* \*

Шестьдесят лет спустя мы наблюдаем на каторге внука или правнука Егора, Ивана Денисовича Шухова. Послал ли ему Бог «ума-разума»? Помогла ли ему революция разобраться в своей доле? Выбил ли новый

строй в нем «хотя бы искорку протеста»? Вернула ли ему новая власть «восприимчивость к своим и чужим страданиям», наделила ли его способностью «отличить справедливость от беззакония»?

Читая повесть Александра Солженицына, во всем этом можно усомниться. И самое страшное не то, что по сравнению с советским лагерем образца 1941 года, изображенным в моем «Ином мире», условия в лагере Ивана Денисовича к 1951 году значительно ухудшились, что *издевательство\**, неслыханное и бесчеловечное издевательство над заключенными откровенно вошло в обиход системы. Самое страшное — это короткие замечания, столь же бесстрастно записанные и мимоходом рассеянные в солженицынском тексте, как «Рассказ Егора» в книге Чехова. «Сколько раз Шухов замечал: дни в лагере катятся — не оглянешься. А срок сам — ничуть не идет, не убавляется его вовсе». «— Подожди, кавторанг, восемь лет просидишь — еще и ты собирать будешь (окурки. — Г. Г.-Г.). — Это верно, и гордей кавторанга люди в лагерь приходили...» «Это полоса была раньше такая счастливая: всем под гребенку десять давали. А с сорок девятого такая полоса пошла — всем по двадцать пять, невзглядая. Десять-то еще можно прожить, не околеет, — а ну, двадцать пять проживи?!» А вот фраза, завершающая повесть: «Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый». Ничем не омраченный — это после 900 минут, из которых каждая полна муки и унижения! Почти счастливый! Разве не слышатся здесь отголоски речей Егора? Только в одном его внук или правнук научился наконец «отличать справедливость от беззакония»: «А разобраться — для кого эти все проценты? Для лагеря. Лагерь через то со строительства тысячи лишние выгребает да своим лейте-

нантам премии выписывает. Тому ж Волковому за его плетку. А тебе — хлеба двести грамм лишних в месяц. Двести грамм жизнью правят». Егор все же не принужден был отдавать жизнь за 200 грамм хлеба: в свободные минуты он стоял на перекрестке выставив живот...

Иван Денисович «уж сам... не знал, хотел он воли или нет. Поначалу-то очень хотел и каждый вечер считал, сколько дней от срока прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом проясняться стало, что домой таких не пускают, гонят в ссылку. И где ему будет житуха лучше — тут ли, там — неведомо. Только б то и хотелось ему у Бога попросить, чтобы — домой. А домой не пустят...». «Отчего ты жену и детей не взял с собой на Сахалин?» — «Потому что им и дома хорошо». «Алеша, — говорит Иван Денисович молодому баптисту с соседней вагонки. — Я ж не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад». Раздражал немного его этот Алеша, как раздражали Достоевского каторжники-поляки: «Вишь, Алешка... у тебя как-то складно получается: Христос тебе сидеть велел, за Христа ты и сел. А я за что сел?» Ни за что. По воле извечных страданий униженных.

В повести Солженицына только раз вспоминается о революции. Один из заключенных, кинорежиссер Цезарь, разговаривает с товарищем по несчастью, морским капитаном Буйновским, о фильме Эйзенштейна «Броненосец 'Потемкин'». Речь идет об известной сцене, где «потемкинцы» поднимают сжатые по-бунтарски кулаки, увидев червей в мясе, — сцене, понятно, задуманной Эйзенштейном в качестве наглядной метафоры прогнившего царского строя. Буйновский говорит: «Думаю, это б мясо к нам в лагерь сейчас привезли вместо нашей рыбки говенной, да не моя, не скребя, в котел бы ухнули, так мы бы...» Так в году 1951-м новые «униженные и оскорбленные»

\* По-русски в оригинале. — Прим. пер.

комментируют события, из-за которых спустя пятнадцать лет после поездки Чехова на Сахалин пошатнулся царский режим.

Сколь же несчастно общество, которое для своей защиты вынуждено звать на помощь палача!

\* \* \*

Чтение книги Чехова о Сахалине приводит нас теперь к дополнительным размышлениям. Что за поразительные времена, когда знаменитому и недужному писателю охота была целых три месяца добираться к Богом и людьми забытому острову каторжников! «От Красноярска до Иркутска, — писал он с дороги, — страшнейшая жара и пыль. Ко всему этому прибавьте голодуху, пыль в носу, слипающиеся от бессонницы глаза, вечный страх, что у повозки (она у меня собственная) сломается что-нибудь, и скуку... Но тем не менее все-таки я доволен и благодарю Бога, что Он дал мне силу и возможность пуститься в это путешествие... Много я видел и многое пережил, и все чрезвычайно интересно и ново для меня не как для литератора, а просто как для человека». Еще больше увидел и пережил он «как литератор и просто как человек» на Сахалине.

В наше время обладание знанием не требует подобных усилий; тем не менее, для современного «литератора и человека» оно не стало от этого делом более простым и легким. Десять лет тому назад в нашумевшей полемике с Камю на страницах «Тан модерн» Сартр писал: «И я считаю советские лагеря явлением недопустимым; но равно недопустимо, на мой взгляд, и то, как каждодневно использует их буржуазная пресса». Буквально то же самое сказал мне три года назад Владислав Броневский. На деле это означает, что «недопустимым» в равной мере является как

существование лагерей, так и сведения о них, поскольку «не буржуазная» пресса, как правило, либо окружала их заговором молчания, либо считала вымыслом прислужников «холодной войны». Иван Денисович таким образом вынужден был дожидаться, когда его судьба предстанет перед трибуналом, заслуживающим большего доверия.

Благодаря повести Солженицына мы имеем сегодня такой трибунал — во главе с самим Хрущевым. Наконец-то «единственно-верная» пресса извлекает из лагерей «единственно-верную» пользу. Но хотя мы и с удовлетворением следим за заседаниями «единственно-верного трибунала» — это ничего, что задержался он на четверть века, — мы не в состоянии сбить с глаз долой один давний фотоснимок 1935 года, который Борис Левицкий включил в свою прекрасную книгу «Vom roten Terror zur sozialistischen Gesetzlichkeit» («От красного террора к социалистическому благоденствию»). Книга является обзором лагерей Беломорканала (в которых, по приблизительным подсчетам, погибло триста тысяч заключенных). На первом плане — пара мастеров своего дела: Ягода с Кагановичем. Чуть сбоку, в кепке набекрень и рубашке навыпуск, с простодушным и на первый взгляд глуповатым лицом, с заложенными за спину руками и выпяченным животом, — подмастерье: Никита Сергеевич. Тоже, может статься, внук или правнук Егора.

1963